

ГЕОРГИ ФЕДOTOBЪ
О СМЕРТИ, КУЛЬТУРЪ И «ЧИСЛАХЪ»

Когда вышла первая книжка «Чисель» въ широкихъ кругахъ читателей смотрѣли на новый журналъ, какъ на воскресшій «Аполлонъ». Въ этомъ убѣждали и имена многихъ авторовъ, связанныхъ съ петербургскимъ акмеизмомъ и вниманіе, удѣляемое вопросамъ искусства, прекрасныя иллюстраціи и совершенство типографской техники. Казалось, что новое предприятие рождается подъ знакомъ Кузьмина и Гумилева. Вторая-третья книга «Чисель» дѣлаетъ окончательно невозможнымъ такое представленіе о новомъ журналѣ. Передъ нами не акмеисты, не Аполлонъ, не Парнассъ, а нѣчто совершенно иное, можетъ быть, прямо противоположное.

Если хотите, генеалогическая линія неосомѣнна. Но дитя акмеизма не можетъ повторять своего отца. Болѣе того, какъ всѣ русскіе дѣти оно отъ него отрекается. Двадцать лѣтъ, — и какихъ лѣтъ! — только для мертваго проходятъ безслѣдно. А въ «Числахъ» люди, слава Богу, еще живые, хотя и много говорятъ о смерти. Но вотъ въ этомъ то все дѣло: свою жизненность «числовцы» доказываютъ волей къ смерти, свое рожденіе на Парнассѣ — отрицаніемъ культуры.

Признаюсь, послѣднее мнѣ кажется всего болѣе удивительнымъ. Мы привыкли къ тому что люди, живущіе искусствомъ, пресыщенные имъ, кокетничаютъ со смертью.

Въ старое время это приблизительно называлось декаденствомъ, или, по крайней мѣрѣ, входило въ него прямымъ ингредиентомъ.: Но культура? Стоитъ ли столько трудиться надъ «красой ногтей», надъ обложкой, шрифтомъ и клише, когда знаешь, что наступаетъ моментъ «капитуляціи» — искусства, что «оно становится недостаточнымъ и ненужнымъ?» или еще лучше: когда «всякая красота зловѣще отвратительна въ своемъ совершенствѣ» и отвратительна даже «дивная музыка Баха»? Я, можетъ быть, не въ правѣ выдавать парадоксы Б. Поплавскаго за голось отвѣтственной группы; но слова о «ненужномъ искусствѣ» принадлежать редактору. Столь непохожіе, идущіе изъ разныхъ угловъ, голоса Г. Адамовича, Н. Оцуца — всѣ юбъ одномъ. Г. Адамовичъ роетъ, сверлитъ, закладываетъ мины, Б. Поплавскій неистово кричитъ, Н. Оцупъ разсудительно, по-хозяински разставляетъ вещи по мѣстамъ, и всѣ эти столь чуждые темпе-

раменты сходятся въ одной волѣ. Волѣ, которая пока проявляетъ себя отрицательно: взрывая смыслъ культуры, а за культурой — чего еще? не всей-ли жизни?

Чтобы понять что-нибудь въ этомъ странномъ предпріятіи, гдѣ коррективнѣйшіе западники, утонченные поэты превращаются въ динамитчиковъ, поднимаютъ руку на Пушкина, клянутся Толстымъ, необходимо одно: отказаться отъ дешевой гипотезы декаденства или снобизма, повѣрить имъ. Даже тотъ, кто не можетъ, долженъ сдѣлать видъ, что повѣрилъ. Безъ этого ничего не понять. Не понять того огромнаго впечатлѣнія, которое «Числа» произвели на литературную молодежь, сдѣлавшись первымъ за время эмиграціи русскимъ литературнымъ событіемъ.

Декадентство преодолевается съ трудомъ, кто разъ вкусилъ его, до смерти ощущаетъ во рту горькій вкусъ. Но нужно же имѣть уваженіе къ человѣку. Подъ визиткой сноба, какъ и подъ бюрократическимъ мундиромъ — человѣческое сердце. Литература съ ея полемикой, стратегіей, поножевщиной, убійствами изъ-за угла — все это есть, было и будетъ. Но здѣсь слышишь пульсъ міра, здѣсь смертельная рана, нанесенная человѣчеству источаетъ свои самыя густыя и чистыя капли.

Она подстрѣлена давно, наша культура, давно уже бѣжитъ по инерціи, пустотой и мракомъ. Печаль обреченности нависла надъ творчествомъ, тупо заглушаемая страной небоскребовъ и пятьюстами вариантами коктейлей. Мы, потерявшіе родину, униженные и обнищавшіе въ конецъ (правъ Б. Поплавскій), оказываемся въ лучшихъ условіяхъ, чтобы ловить радіоволны съ тонущаго Титаника.

Есть люди, которые давно предвидѣли, предупреждали о гибели. Многие изъ нихъ теперь злорадствуютъ. Эта нотка злорадства часто и неприятно слышится въ устахъ христіанъ, когда они указываютъ на гибель культуры. Нельзя громоздить тяжести надъ пустотой. Убийвъ Бога, человечество совершило самоубійство. И въ смертномъ приговорѣ культурѣ гора Авонъ страннымъ образомъ перекликается съ горой Парнаассомъ.

Эта перекличка въ «Числахъ» налицо. Адамовичъ говоритъ о Толстомъ и стоящемъ за нимъ Учителѣ. Поплавскій о мистической школѣ, о жалости и «православіи». Сказаны слова, очень обязывающія. Корабли сжигаются. Искатели покидаютъ берегъ, удаляясь въ пустыню. Быть можетъ ихъ ждетъ тамъ Синай. Можно-ли удерживать ихъ на краю цвѣтущей, обитаемой земли?

Нѣтъ, конечно, если они вооружились мужествомъ и не оглядываются назадъ. Если они идутъ, а не отдыхаютъ въ пустынѣ отъ опостылѣвшихъ человѣческихъ селъ. Что творится въ пустынѣ намъ невѣдомо и оцѣнить по справедливости голоса, доносящіеся оттуда, мы не въ силахъ. У насъ нѣтъ для этого самого главнаго: мѣры движенія. Мы воспринимаемъ ихъ лишь въ недвижныхъ отрывкахъ идей и словъ. Видимъ, что не есть истина, но не знаемъ, куда оно: къ истинѣ или отъ истины? Съ этими оговорками прошу принять мои замѣчанія и сомнѣнія.

Смерть есть, безспорно, тотъ основной фактъ изъ осмысленія котораго вырастаетъ религія да, вѣроятно, и вся культура: ибо только смерть даетъ возможность отдѣлится въ мірѣ явленій непреходящее и вѣчное. Но отношеніе къ смерти, даже религіозное, не тождественно. Я даже готовъ сказать, что граница между правымъ и неправымъ воспріятіемъ смерти проходитъ внутри религіознаго круга, что законное, естественное переживаніе смерти возможно и въ атеистическомъ сознаніи, и что въ немъ тогда заложено скрытое религіозное зерно. Но сложность смертеощущенія неизбѣжно лежитъ въ основѣ ложной религіи.

Право, истинно, человѣчно — отчаяніе передъ лицомъ смерти. Видѣть, или хотя-бы предчувствовать гибель любимаго человѣческаго лица, гнусное разложеніе его плоти, съ этимъ не можетъ, не должно примириться достоинство человѣка. Это предчувствіе можетъ отравить всѣ источники наслажденій, вызвать отвращеніе къ жизни, но прежде всего, и е - п р е м ѣ н н о — ненависть къ смерти, непримиримую, не знающую компромисса или прошенія. Здѣсь вѣрующей Толстой сходится съ богоборцемъ Л. Андреевымъ и — съ творцомъ православной панихиды І. Дамаскинымъ. Изъ этого праваго отчаянія п р и д о с т а т о ч н о й с и л ѣ ж и з - н и , родится вѣра въ воскресеніе.

Права, истинна, хотя и исключительна — мистическая жажда смерти, какъ слиянія съ Богомъ, утоленія нигдѣ на землѣ неутолимой любви. Но для мистика смерти нѣтъ, смерть лишь максимализація жизни, «вѣчная жизнь», и счастье свиданія не могутъ омрачить истлѣвшія одежды плоти. Эротическое отношеніе къ смерти разрушаетъ ее черезъ безсмертіе.

Христіанство отрицаетъ смерть и черезъ отчаяніе и черезъ зрость — въ воскресеніи и безсмертіи. Въ преодолѣніи смерти весь смыслъ христіанства, религіи «вѣчной жизни». Христіанское отчаяніе родится изъ любви къ погибающему міру и человѣку. Христіанское отчаяніе — смерть

изъ любви къ Богу. И здѣсь и тамъ любовь вступаетъ въ войну со смертью и побѣждаетъ ее. Смерть — главный врагъ и никогда, никогда христіанство не можетъ быть истолковано, какъ религія смерти. Смерть лишь путь — жертва, крестъ — къ воскресенію. По истинѣ, нужно имѣть огромную любовь къ жизни, чтобы, не довольствуясь одной нашей мучительной жизнью, требовать «вѣчной жизни».

Эта жизненность христіанства становится особенно наглядной рядомъ со скромностью языческихъ представлений о смерти, языческой резиньяціей Христіанству чуждо отношеніе къ смерти, какъ ко сну и покою. («Покой» панихиды — лишь неполная, отрицательная сторона смерти). Всего ужаснѣе для христіанства рождающаяся отъ усталости и безсилія тоска по «еванасіи», легкой и блаженной смерти. Смерть, какъ усыпляющая любовница, *la belle dame sans merci*, Петроній, открывающій жилы въ благовонной ваннѣ — вотъ что максимально противостоитъ Кресту — гораздо болѣе, нежели наивное и радостное упоеніе жизнью. Не бойтесь: если любить жизнь крѣпко, любить такую, какъ она есть, плѣнительную и тлѣнную, то эта любовь будетъ непременно распята, и чѣмъ сильнѣе она, тѣмъ мучительнѣе ея крестъ. Но изъ ванны до креста Петронію не дотянуться. Отсюда выходъ къ угашенію жизни въ аскетизмъ Будды, и иныхъ религій Индіи, но не христіанства. Борьба, которая ведется сейчасъ въ мірѣ за человѣческой духъ, это и есть борьба между Буддой и Христомъ, между нирваной и вѣчной жизнью. Безрелигіозныя, даже атеистическія силы лишь резервуары для религіозныхъ энергій, которыя раздѣляютъ человѣчество.

И я боюсь — хоть и хотѣлъ бы ошибиться — что тема смерти оборачивается въ «Числахъ» темой нирваны. Это доказываетъ, что старое декаденство еще не преодолѣно — съ его ставкой на усталость, на блеклость, на угашеніе жизни.

Георгій Адамовичъ (или его корреспондентъ А.) усваиваетъ себѣ гностическій мифъ о томъ, что «міръ вырвался къ бытію противъ воли Бога». Отсюда «въ душу закрадывается соблазнъ: — не надо ли «погасить» міръ, т. е. на это работать». Изъ этого соблазнительнаго мифа можетъ вытекать и отреченіе отъ культуры.

Отрицаніе культуры въ «Числахъ» не похоже на буйство варваровъ которые хотѣли-бы все разрушить до основанія, чтобы все вновь построить. Не разрушеніе здѣсь, а лишь дрожаніе надъ треснутой вазой, — чут-

кость къ омертвенію, охватывающему все большіе слои культурныхъ тканей. Вполнѣ законна неудовлетворенность классицизмомъ (въ этой связи «развѣнчаніе» Пушкина). Но хотѣлось бы знать: во имя чего этотъ походъ? Не есть ли это процессъ саморазложенія, распадъ европейской, — и, прежде всего, русской культуры, которая не видитъ своей смѣны?

Она уже поняла, что не можетъ притязать на значеніе высшаго содержанія жизни, она знаетъ даже, что въ своемъ самодовлѣніи можетъ отравлять самые источники жизни (Н. Оцупъ о поэзіи Некрасова). Но она безсильна включить себя въ іерархическій строй бытія, утвердить себя на «тверди», когда земная почва проваливается подъ ногами.

Адамовичу кажется, что литературу убиваетъ снисхожденіе къ центру жизни, въ которомъ начинается ощущеніе ея ничтожности. Поплавскій прокликаетъ искусство во имя единственной реальности: жалости къ человѣку, даже къ отдаленной заячьей лапкѣ. Съ разныхъ концовъ здѣсь Богъ и человѣкъ (живая тварь) убиваютъ искусство, какъ мнимое и ложное...

Правда въ томъ, что между Богомъ и человѣкомъ свѣтоносная сфера Божьей славы: Космосъ, произрастающій изъ царства идей, окруженный сокрытой ризой Божества. Вотъ почему культура, какъ познаніе скрытой или «логической» основы міра есть богопознаніе. Искусство лишь особая форма творческаго познанія. Глубоко человѣческая область культуры укоренена другимъ концомъ въ мірѣ ангельскомъ. Нельзя забывать объ ангелахъ ради заячьей лапки, хотя грѣхъ забывать и о лапкѣ ради ангельской славы. Искусство есть слава, «осанна» сквозь распятіе падшаго міра, и жалость безсильна убить его. Состраданіе, обнищаніе, «Кенозисъ» не исчерпываютъ христіанства. Отъ славы преображенія Кенозисъ ведетъ къ небытію, состраданію — къ общей и послѣдней гибели. Здѣсь наше русское (а не православное) искушеніе. Въ этомъ корень и русскаго народническаго нигилизма и разложеніе Блока, благоговѣйная память о которомъ не требуетъ слѣдованія его путемъ.

Хочется сказать: пусть падшій, пусть отравленный — міръ прекрасенъ, почти какъ въ первый день творенія. Но Божія слава его пронизала вспышками демоническихъ молній. Культура призвана къ созерцанію славы, хотя для нея почти неизбѣжно быть опаленной молніями. Въ культурѣ, какъ и въ пещерѣ пустытника человѣкъ соучаствуетъ въ космической брани. Его призваніе трагично и нѣтъ ничего противнѣе трагическому жизне-

ощуценію, какъ сомнѣніе, раздумье, элегическая резиньяція. Сквозь хаосъ, обступающій насъ и встающій внутри насъ, пронесемъ нераспесканнымъ героическое — да: Богу, міру и людямъ.